

М. Горький

Ледоход

На реке, против города, семеро плотников спешно чинили ледорез, ободранный за зиму слободскими мещанами на топливо.

Весна запоздала в том году — юный молодец Март смотрел Октябрем; лишь около полуден — да и то не каждый день — в небе, затканном тучами, являлось белое — по-зимнему — солнце и ныряло в голубых проталинах между туч, поглядывая на землю неприветливо и косо.

Уже была пятница страстной недели, а капель к ночи намерзала синими сосульями в пол-аршина длиною; лед на реке, оголенной от снега, тоже был синеватый, как зимние облака.

Работали плотники — а в городе печально и призывно пела медь колоколов. Головы рабочих поднимались вверх, глаза задумчиво тонули в сероватой мгле, обнявшей город, и часто топор, занесенный для удара, нерешительно, на секунду останавливался в воздухе, точно боясь разрубить ласковый звон.

Там и тут на широкой полосе реки криво торчали сосновые ветви, обозначая дороги, полыньи и трещины во льду; они поднимались вверх, точно руки утопающего, изломанные судорогами.

Томительной скукой веет от реки: пустынная, прикрытая ноздреватой коростой, она лежит безотрадно прямою дорогой во мгlistую область, откуда уныло и лениво дышит сырой, холодный ветер.

...Староста Осип, чистенький и складный мужичок, с правильной серебряной бородкой, аккуратно завитой в мелкие кольца на розовых щеках и гибкой шее, — всегда и всюду заметный, староста Осип покрикивает:

— Шевелись поживей, курицыны дети! И обращается ко мне, насмешливо внушая:

— Наблюдающий, — ты чего в небе ковыряешь тупым твоим носом? Ты для какого дела приставлен, спросить тебя? Ты — от подрядчика, от Василь Сергеича? Стало быть — подобат тебе наяривать нас — работай живо, такой-сякой народ! Вот для какого подвигу ты налажен, а ты — на свое дело моргаешь, дите мое, горький сухостой! Моргать тебе не положено, ты гляди в оба да покрикивай, коли тебя вроде десятника до нас приспособили... ты — командуй, кукушкино яичко!

Он снова кричит на ребят:

— Не зевай! Лешие, — надобно сегодня конец делу положить, али нет?

Сам он — первейший лентяй артели. Превосходно знает свое дело, умеет работать ловко, споро, со вкусом и увлечением, но — не любит утруждать себя и постоянно рассказывает волшебные истории. Как раз в разгар работы, когда люди вопьются в нее и работают молча, сосредоточенно, вдруг плененные желанием сделать всё ладно и гладко, — Осип заводит журчащим голоском:

— А вот, братцы мои, был случай...

Две-три минуты, люди как будто не слушают его, самозабвенно тешут, строгают, рубят, а мягонький тенорок мечтательно течет и вьется, опутывая, связывая внимание людей. Голубые ясные глаза Осипа сладко прищурены, он покручивает пальцами курчавую бородку и, чмокая от удовольствия, нижеет слово за словом...

— Поймал он этого линия, положил в пещер¹, идет лесом — думает: «А и будет же уха у меня...» Только вдруг — не знай откуда — кричит голос женской, тонкой: «Елеся-а, Елеся-а...»

Длинный костлявый мордвин Ленька, по прозвищу Народец, — молодой парень с маленькими изумленными глазками, — опустил топор и стоит, открыв рот.

¹ Пещер — котомка, лубяная корзинка.

— А из пещера отвечают басыщем, густо: «Зде-ся-а!..» И в ту самую минуту крышка с пещера — хлобысь, лить оттедова — прыг и пошел, пошел назад, в омут свой...

Старик-солдат Санявин, угрюмый пьяница, страдающий одышкой и давно чем-то обиженный на всю жизнь, хрипит:

— Как это он, лить, пошел посуху, ежели он — рыба?

— А говорить рыбе назначено? — ласковенько спрашивает Осип.

Мокей Будырин, мужик серый, с собачьим лицом — скулы и челюсти выдвинуты вперед, а лоб запрокинут, — человек молчаливый и неприметный, не торопясь, выпускает через нос три любимые свои слова:

— Это совсем верно...

Каждый раз, когда рассказывают что-нибудь чудесное, страшное, грязное или злое, — он негромко, но непоколебимо уверенно отзывается:

— Это — совсем верно...

И словно трижды бьет меня в грудь жестким тяжелым кулаком. Работа встала, потому что Яков Боев, косноязычный и кособокий, тоже хочет рассказать что-то рыбе и уже начал, но ему никто не верит, смеются над его измятой речью; он — божится, ругается, сердито сует долотом в воздух и, захлебываясь злой слюною, кричит, на смех всем:

— Один — чего ни ври — принимают, а как я вам — правду, — ржете, галманы¹, пострели вас в душу...

Все бросили работу и шумят, размахивая пустыми руками; тогда — Осип снимает шапку, обнажая благообразную серебряную голову, с плешью на темени, и строго кричит:

— Будя, эй! Позвонили, отдохнули, и — ладно!

— Сам завел, — хрипит солдат, поплеывая на ладони.

Осип пристает ко мне:

— Наблюдающий-и...

Мне кажется, что он сбивает людей с работы своими рассказами, имея какую-то цель, но я не понимаю — хочет ли он болтовней прикрыть свою лень или дать людям отдых? Перед подрядчиком Осип держится льстиво, низкопоклонно, — «ломает дурака» перед ним и каждую субботу умеет выклянчить у него «на чайшко» для артели.

Вообще он человек «артельный», но старики его не любят, считают шутком, бездельником и относятся к нему неуважительно, да и молодежь, любя слушать его болтовню, смотрит на него несерьезно, с недоверием, плохо скрытым и часто злым.

Мордвин, парень грамотный, с которым я говорю иногда «по душам», однажды, на мой вопрос — что за человек Осип, сказал, усмехаясь:

— Не знай... пес его знает... так себе — ничего...

И, подумав, добавил:

— Михайло, который помер, резкий был мужик, умный, — так он раз лялся с им, с Осипом-то, да и говорит: «Али, говорит, ты человек? Работник в тебе подох, а хозяин — не родился, так, говорит, ты и будешь всю жизнь болтаться на углу, как забытый отвес на нитке»... Вот это, поди-ка, верно про него...

И еще подумав, мордвин беспокойно договорил:

— А так он ничего, добрый человек...

У меня глупейшая позиция среди этих людей: пятнадцатилетний парень, я приставлен подрядчиком — записывать расход материала, следить, чтобы плотники не воровали гвоздей, не таскали в кабак досок. Гвозди они воруют, нимало не стесняясь моим присутствием, и все усердно показывают мне, что я на работе среди них — человек лишний, неприятный. И если кому-нибудь представляется случай незаметно задеть меня доскою или иным способом причинить мне маленькую обиду — они это делают очень умело.

¹ Галман — грубиян, невежа

Мне с ними неловко, стыдно; я хочу сказать им что-то, что помирило бы их со мною, но не нахожу нужных слов, и меня давит угрюмое чувство моей ненужности.

Каждый раз, когда я записываю в книжку количество взятого материала, — Осип, не торопясь, подходит и спрашивает:

— Нарисовал? Ну-кошь, покажь...

Смотрит на запись прищуря глаза и говорит неопределенно:

— Мелко пишешь...

Он умеет читать только по печатному, пишет тоже печатными буквами церковного устава¹ — гражданская пропись непонятна ему.

— Это — корытцем-то — какое слово?

— Добро.

— Добро-о! Ишь петля какая... А что написано строкой этой?

— Досок вершковых, девятиаршинных, пять.

— Шесть.

— Пять.

— Как же пять? Вот, солдат перерезал одну...

— Это он напрасно, надобности не было...

— Как же не было? Он половинку в кабак снес...

Спокойно глядя в лицо мне голубыми, как васильки, глазами, с веселой усмешечкою в них, он навивает на палец колечки бороды и неотразимо бесстыдно говорит:

— Рисуй шесть, право! Ты гляди, кукушкино яичко, — мокро, холодно, работенка тяжелая — надобно людям побаловать душеньку, винцом-то ее обогреть? Ты — не строжись, бога строгостью не подкупишь...

Говорит он долго, ласково, кудреватого, слова сыплются на меня, точно опилки, я как бы внутренне слепну и молча показываю ему переправленную цифру.

— Ну вот — это верно! И цифра — красивше, вон какой купчихой сидит, пузатенька, добренька...

Я вижу, как победоносно он рассказывает плотникам о своем успехе, знаю, что они все презирают меня за уступчивость, мое пятнадцатилетнее сердце обиженно плачет, а в голове вертятся скучные, серые мысли:

«Всё это странно и глупо. Почему он уверен, что я снова не переправлю 6 на 5 и не скажу подрядчику, что они пропилили доску?»

Однажды они украли два фунта пятивершковых костылей и железные скобы.

— Слушай, — предупредил я Осипа, — я это запишу!

— Вали! — согласился он, играя седыми бровями. — Что, в сам деле, за баловство? Вали, рисуй их, маминых детей...

И закричал ребятам:

— Эй, шалыганы, костыли и скобы на штраф вам записаны!..

Солдат угрюмо спросил:

— Почто?

— Прощтрафились, стало быть, — спокойно пояснил Осип.

Плотники заворчали, косо поглядывая на меня, а у меня не было уверенности, что я сделаю то, чем пригрозил, а если сделаю — так это будет хорошо.

— Уйду от подрядчика, — сказал я Осипу, — ну вас всех к чертям! С вами воров станешь.

Осип подумал, погладил бороду, сел рядом со мною плечом и сказал тихонько:

— Это — правильно!

— Что?

¹ *Церковный устав* — старославянское письмо, так называемая кириллица. *Гражданский шрифт* был введен Петром I в 1708–1710 вместо старославянского, употреблявшегося с этого времени только в церковных книгах.

— Надо уйти. Какой ты десятник, какой приказчик? В должностях этих надобно понимать, что есть имущество, собачий характер надобен тут, чтоб охранять хозяинову, как свою родную шкуру, мамино наследство... А ты для этого дела — молод пес, ты не чувствуешь, чего имущество требует. Если бы сказать Василь Сергеичу, как ты нам мирволишь, — он бы те в тую самую одну минуту по шее, — вполне решительно! Потому ты для него — не к доходу, а на расход, человек же должен служить доходно хозяину — понял?

Свернув папиросу, он дал ее мне.

— Покури, легче будет в мозге. Кабы у тебя, крандаш, не такой совкий и спорный характер был — я бы тебе-тко сказал: иди в монахи! Ну, — характер у тебя для этого не подходящий, топорный характер, неотес ты в душе, ты, буде, и самому игумну не сдашь. С эдаким характером в карты играть невозможно! А монах — он наподобие галки: чье клюет — не знает, корни дела его не касаются, он зерном сыт, а не корнем. Всё это я тебе говорю от сердца, как вижу, что человек ты чужой делам нашим — кукушкино яичко в не ее гнезде...

Снял шапку — он это делал всегда, когда хотел сказать что-либо особенно значительное, — поглядел в серое небо и громко, покорно выговорил:

— Дела наши — воровские пред господом, и спасенья нам не буде от него...

— Это совсем верно, — отозвался Мокей Будырин, точно кларнет.

С той поры кудрявый, среброголовый Осип с ясными глазами и сумеречной душою стал мне приятно интересен, между нами зародилось нечто подобное дружбе, но я видел, что доброе отношение ко мне чем-то смущает его: при других он на меня не смотрит, васильковые зрачки светлы и пусты, они суетливо бегают, дрожат, и губы человека кривятся лживо, неприятно, когда он говорит мне:

— Эй, поглядывай в оба, оправдывай хлеб, а то вон — солдат гвозди жует, прорва...

А один на один со мною он говорит поучительно и ласково, в глазах его светится-играет умненькая усмешечка, и смотрят они голубыми лучами прямо в мои глаза. Слова этого человека я слушаю внимательно, как верные, честно взвешенные в душе, хотя иногда он говорит странно.

— Надо быть хорошим человеком, — сказал я однажды.

— А — конечно! — согласился он, но тотчас же, усмехнувшись, спрятал глаза, тихонько говоря: — Однако — как понимать хорошего человека? Я так думаю, что людям-то наплевать на хорошесть, на праведность твою, ежели она — не к добру им; нет, ты окажи им внимание, ты всякому сердцу в ласку будь, побалууй людей, потешь... может, когда-нибудь и тебе это хорошо обернется! Конечно — споров нету — очень приятное дело, будучи хорошим человеком, на свою харю в зеркало глядеть. — Ну, а людям — я вижу — всё едино как: жулик ты али святой — только до них будь сердечней, до них добрее будь... Вот оно — что всем надо!..

Я очень внимательно присматриваюсь к людям, мне думается, что каждый человек должен возвести и возводит меня к познанию этой непонятной, запутанной, обидной жизни, и у меня есть свой беспокойный, неумолкающий вопрос:

«Что такое человечья душа?»

Мне кажется, что иные души построены, как медные шары: укрепленные неподвижно в груди, они отражают все, что касается их, одной своей точкой, — отражают неправильно, уродливо и скучно. Есть души плоские, как зеркала, — это всё равно как будто нет их.

А в большинстве своем человечьи души кажутся мне бесформенными, как облака, и мутно-пестрыми, точно лживый камень опал, — они всегда податливо изменяются, сообразно цвету того, что коснется их.

Я не знаю, не могу понять, какова душа благообразного Осипа, — неуловима она умом.

Об этих делах я и думаю, глядя за реку, где город, прилепившийся на горе, поет колоколами всех колоколен, поднятых в небо, как белые трубы любимого мною органа в польском костеле. Кресты церквей — точно тусклые звезды, плененные сереньким небом, они — сучая — сверкают и дрожат, как бы стремясь вознестись в чистое небо за серым пологом изодранных ветром облаков; а облака бегут и стирают тенями пестрые краски города, — каждый раз, когда из глубоких голубых ям, между ними, упадут на город лучи солнца, обольют его веселыми красками, они тотчас, закрыв солнце, побегут быстрее, сырые тени их становятся тяжелее, и всё потускнеет, лишь минуту подразнив радостью.

Дома города — точно груды грязного снега, земля под ними черная, голая, и деревья садов — как бугры земли, тусклый блеск стекол в серых стенах зданий напоминает о зиме, и надо всем вокруг тихо стелется разымчивая грусть бледной северной весны.

Мишук Дятлов, молодой белобрысый парень, с заячьей губою, широкий, нескладный, пробует запеть:

Она пришла к нему поутру,
А он скончался в тую ночь...

— Эй, ты, курвин сын! — кричит на него солдат. — Али забыл, какой седни день?

Боев тоже сердится — грозит Дятлову кулаком и свистит:

— С-собачья душа!

«Народ у нас лесной, долголетний, жилистой, — говорит Осип Будырину, сидя верхом на вершине ледореза и прищуренным глазом измеряя откос. — Выпусти конец бруса на вершок левее — так!.. А ежели просто сказать — дикой народ! Одна — едет алхирей, они — к нему, обкружили, пали на коленки, плачутся: заговори-де нам, преосвященное владыко, волков, одолели нас волки! Кэ-эк он их — «Ах, вы, говорит, православные христиане, а? Да я, говорит, всех вас строжайшему суду предам!» Очень разгневался, плюет даже в морды им. Старенький такой был, личность добрая, глазки слезятся...

Сажень на двадцать ниже ледорезов матросы и босяки окалывают лед вокруг барж; хряско бьют пешни, разрушая рыхлую, серую корку реки, маячат в воздухе тонкие шесты багров, проталкивая под лед вырубленные куски его; плещет вода; с песчаного берега доносится говор ручьев. У нас шаркают рубанки, свистит пила, стучат топоры, загоняя железные скобы в желтое, гладко выструганное дерево, — и во все звуки втекает колокольный звон, смягченный расстоянием, волнующий душу. Кажется, что серый день всю свою работою служит акафист весне, призывая ее на землю, уже обтаявшую, но голую и нищую... Кто-то орет простуженным голосом:

— Немца-а позо-ови-и! Народу не хвата-ат...

С берега откликаются:

— Где он?

— В кабаке, гляди-и...

Голоса плывут в сыром воздухе тяжело, растекаются над широкой рекою уныло.

Работают торопливо, горячо, но плохо, кое-как; всех тянет в город, в баню и в церковь, особенно беспокоился Сашок Дятлов, такой же, как брат, белобрысый, точно в щелоче вареный, но — кудрявый, складный и ловкий. То и дело поглядывая вверх по течению, он тихонько говорит брату:

— Чу, будто трешшит?

Ночью была «подвижка» льда, речная полиция уже со вчерашнего утра не пускает на реку лошадей, по линейкам мостков, точно бусы, катятся редкие пешеходы, и слышно, как доски, прогибаясь, смачно шлепают по воде.

— Потрескивает, — говорит Мишук, мигая белыми ресницами.

Осип, глядя из-под ладони на реку, обрывает его:

— Это стружка в башке у тебя сохнет-скрипит! Работай, знай, ведьмин сын! Наблюдающий — погоняй их, что ты в книжку воткнулся?

Работы оставалось часа на два, уже весь горб ледореза обшит желтым, как масло, тесом, осталось только наложить толстые железные связи. Боев и Санявин вырезали гнезда для них, но — не угодили, вышло узко — полосы не входили в дерево.

— Мордва слепокурая, — кричал Осип, постукивая себя ладонью по шапке. — Али это работа?

Вдруг, откуда-то с берега, невидимый голос радостно завыл:

— По-оше-ол..., о-го-го-о!

И, как бы сопровождая этот вой, над рекою потек неторопливый шорох, тихий хруст; лапы сосновых вешек затрепетали, словно хватаясь за что-то в воздухе, и матросы, босяки, взмахивая баграми, шумно полезли по веревочным трапам на борта барж.

Было странно видеть, как много явилось на реке людей: они точно выпрыгнули из-под льда и теперь метались взад-вперед, как галки, вспугнутые выстрелом, прыгали, бежали, тащили доски и шесты, бросали их и снова хватали.

— Собирай инструмент! — крикнул Осип. — Живо, так вашу... на берег.

— Вот те и светло Христово воскресенье! — горестно воскликнул Сашок.

Казалось, что река неподвижна, а город вздрогнул, покачнулся и вместе с горою под ним тихо всплывает вверх по реке. Серые песчаные осыпи, в десятке сажен перед нами, тоже зашевелились и потекли, отдаляясь от нас.

— Беги, — крикнул Осип, толкнув меня, — чего разинул рот?

Жуткое ощущение опасности ударило в сердце; ноги, почувствовав, что лед уходит из-под них, как-то сами собою вскинулись, понесли тело на песок, где торчали голые прутья ивняка, обломанные зимними вьюгами, — там уже валялись Боев, солдат, Будырин и оба Дятловы. Мордвин бежал рядом со мною и сердито ругался, а Осип — шагал сзади, покрикивая:

— Не лай, Народец...

— Да ведь как же, дядя Осип...

— Так же всё, как было.

— Застряли мы тут суток на двое...

— И посидишь.

— А праздник?

— Без тебя отпразднуют в сем году...

Солдат, сидя на песке, раскуривал трубку и хрипел:

— Струсили... три пятка сажен места до берегу, а вы — бежать сломя голову...

— Ты первый побег, — сказал Мокей. Но солдат продолжал:

— А чего испугались? Христос-батюшко и то! помер...

— Чать, он воскрес опосля того, — обиженно пробормотал мордвин, а Боев заорал на него:

— Ты — молчи, щенок! Твое дело рассуждать про то? Воскрес! Седни — пятница, а не воскресенье!

В голубой пропасти между облаков вспыхнуло мартовское солнце, лед засверкал, смеясь над нами. Осип, поглядел из-под ладони на опустевшую реку и сказал:

— Встала... Только это — ненадолго...

— Отрезало нас от праздника, — угрюмо проговорил Сашок.

Безбородое, безусое лицо мордвина, темное и угловатое, как неочищенная картофелина, сердито сморщилось, он часто мигал и ворчал:

— Сиди тут... Ни хлеба, ни денег... У людей — радость, а мы... Жадностям служим, как собаки всё одно...

Осип, не отводя глаз от реки и, видимо, думая о чем-то другом, говорит, словно сквозь сон:

— Тут вовсе не жадности, а — надобности! Быки-ледорезы — для чего? Охранять ото льда баржи и все такое. Лед глупый, он навалится на караван, и — прощай имущество...

— А — наплевать... наше оно, что ли?

— Толкуй с дураком...

— Чинили бы раньше...

Солдат скорчил лицо в страшную гримасу и крикнул:

— Цыц, мордва народская!

— Встала, – повторил Осип. – М-да...

На караване орали матросы, а с реки веяло холодом и злою, подстерегающей тишиной. Узор вешек, раскинутый по льду, изменился, и всё казалось измененным, полным напряженного ожидания.

Кто-то из молодых парней спросил, тихонько и робко:

— Дядя Осип — как же?

— Чего? – дремотно отозвался он.

— Так нам и сидеть тут?

Боев, явно издеваясь, гнусаво заговорил:

— Отлучил господь вас, ёрников, от святого праздника своего, что-о?

Солдат поддержал товарища — вытянул руку с трубкой к реке и, посмеиваясь, бормотал:

— Охота в город? Идите! И лед пойдет. Авось утопнете, а то — в полицию возьмут... на праздник-то — хорошо!..

— Это совсем верно, – сказал Мокей.

Солнце спряталось, река потемнела, а город стало видно ясней — молодежь уставилась на него сердитыми и грустными глазами и замолчала, замерла.

Мне было скучно и тяжело, как всегда бывает, когда видишь, что все вокруг тебя думают разное и нет единого желания, которое могло бы связать людей в целостную, упрямую силу. Хотелось уйти от них и шагать по льду одному.

Осип, точно вдруг проснувшись, встал на ноги, снял шапку и, перекрестясь на город, сказал очень просто, спокойно и властно:

— Ну-кошь, ребята, айда с богом...

— В город? – воскликнул Сашок, вскакивая. Солдат, не двигаясь, уверенно заявил:

— Потонем!

— Тогда — оставайся.

И, оглянув всех, Осип крикнул!

— Ну, шевелись, живо!

Все поднялись, сбились в кучу; Боев, поправляя инструменты в пещере, заныл:

— Сказано — иди, стало быть — надо идти! Кем приказано — того и ответ...

Осип словно помолодел, окреп: хитровато-ласковое выражение его розового лица слиняло, глаза потемнели, глядя строго, деловито; ленивая, развалистая походка тоже исчезла — он шагал твердо, уверенно.

— Каждый бери по доске и держи ее поперек себя — в случае — не дай бог — провалится кто, — концы доски на лед лягут — поддержка! И трещины переходить... Веревка — есть? Народец, дай-кошь мне ватерпас¹... Готовы? Ну — я вперед, а за мной — кто всех тяжелее? Ты, солдат! Потом — Мокей, мордвин, Боев, Мишук, Сашок, — Максимыч всех легче, он позади... Сымай шапки, молись богородице! Вот и солнышко-батюшко встречу нам...

Дружно обнажились лохматые, седые и русые головы, солнце глянуло на них сквозь тонкое белое облачко и спряталось, точно не желая возбуждать надежд.

¹ *Ватерпас* — простейший прибор для проверки горизонтальности плоскости, уровень, используемый на плотничных, земляных и каменных работах.

— Айда! – сухо, новым голосом сказал Осип. – С богом! Смотрите на ноги мне. Не напирай в спину, держись друг ко другу не ближе сажня¹, а чем дале — то и лучше! Пошел, детки!

Сунув шапку за пазуху, держа в руке ватерпас, Осип, как-то осторожно и ласково шаркая ногами, сошел на лед и тотчас, за спиной у него, на берегу, раздался отчаянный крик:

— Ку-уда, бараны, ма-а...

— Шагай, не оглядывайсь! – звонко командовал вожатый.

— Наза-ад, дьяво-олы...

— Айда, ребята, бога помня! В гости на праздник он нас не позовет...

Свистел полицейский свисток, а солдат громко ворчал:

— Во-от, ерои, так вашу... Затеяли дело! Теперь депеша будет дана тому берегу в полицию... Коли не утопнем — в часть, клопам нас... Я на себя ответ не беру...

Бодрый голос Осипа вел людей за собою, точно на веревке:

— Глади под ноги зорче!

Шли наискось, против течения, и мне, заднему, хорошо видно было, как маленький аккуратный Осип, с белой, точно у зайца, головою, ловко скользит по льду, почти не поднимая ног. За ним, гуськом, как бы нанизанные на невидимую нить, тянутся, покачиваясь, шесть темных фигур, иногда рядом с ними явятся тени их, лягут под ноги им и стелются по льду. Головы опущены, точно люди идут с горы и боятся упасть, оступившись.

Сзади кричат всё гуще — видимо, сбежался народ большою толпой, слов уже нельзя разобрать, слышен только неприятный гул.

Это осторожное шествие становится для меня механической, скучной работой; я привык ходить быстро и теперь погружаюсь в то полусонное настроение, когда душа как бы пустеет, перестаешь думать о себе, уходишь от себя и в то же время всё видишь особенно четко, слышишь особенно ясно. Под ногами синевато-серый, свинцовый лед, изъеденный водою, его рассеянный блеск ослепляет глаза. Кое-где лед лопнул, выгорбился, истерт движением в мелкие куски, лежит кучами, ноздреватый, как пемза, и острый, как битое стекло. Синие трещины, холодно улыбаясь, ловят ногу. Шлепают широкие подошвы, надоедно звучат голоса Боева и солдата, — оба они — как две дудочки в одних устах.

— Я ответа не беру...

— Конечно, и я...

— Одному дозволено распоряжаться, а другой, может, в тыщу разов умнее...

— Разве умом живут у нас? У нас — глоткой живут все...

Осип заткнул полы полушубка за пояс, его ноги, в серых штанах солдатского сукна, шагают легко и гибко, точно пружины. Идет он так, как будто перед ним все время вертится кто-то, видимый только ему, вертится и мешает идти прямо, кратчайшим путем, а Осип борется с ним, стараясь обойти его, ускользнуть, подается вправо и влево, иногда круто повертывает назад и так всё время танцует, описывая по льду петли и полукружия. Голос его звучит немолчно, певуче, и очень приятно слышать, как хорошо сливается он со звоном колоколов...

Уже подходили к середине четырехсотсаженной полосы льда, когда сверху реки зашуршало зловещим шорохом, в ту же минуту лед поплыл из-под ног у меня, я покачнулся и, не устояв, припал на колено, удивленный. Но тотчас же, как только я взглянул вверх по реке, испуг схватил меня за горло, лишил голоса, потемнил зрение — серая корка льда ожила, горбилась, на ровной поверхности вспухали острые углы, в воздухе растекался странный хруст — точно кто-то тяжелою ногой шел по битому стеклу.

¹ Сажень — старая русская мера длины, около 2,13 м.

С тихим свистом около меня струилась вода, трещало дерево, взвизгивая, как живое, орали люди, сбиваясь кучей, и в глухом жутком гуле, размешивая его, звенел голос Осипа:

— Разойдись... расходишься — держись порознь, божьи дети... Пошла матушка, пошла-а! Веселей, ребята! Вот — пошла-а...

Он прыгал, словно на него осы напали, и, держа саженный ватерпас, как ружье, тыкал им вокруг себя, точно сражаясь с кем-то, а мимо него, вздрагивая, плыл город. Лед подо мною заскрежетал, мелко ломаясь, на ноги мне хлынула вода, я вскочил, слепо бросился к Осипу.

— Куда? — замахнувшись ватерпасом, крикнул он. — Стой, чёрт!

Показалось, что это не Осип, — лицо странно помолодело, всё знакомое стерлось с него, голубые глаза стали серыми, он словно вырос на пол-аршина. Прямой, как новый гвоздь, плотно сжав ноги, вытягиваясь вверх, он кричал, широко открыв рот:

— Не крутись, не сбивайся кучей — башки поразобью!

И снова замахнулся на меня ватерпасом.

— Ты — куда?

— Потонем, — тихонько сказал я.

— Цыц! Молчи...

Но, оглянув меня, он прибавил тише и мягче:

— Потонуть и дурак сумеет, а ты вот выберись..., ты — вылезь!

И снова залился, закричал ободряющие слова, выгибая грудь, закинув голову.

Лед потрескивал и хрустел, неспешно ломаясь, нас медленно сносило мимо города; какая-то силища проснулась в земле и растягивает берег: часть его — ниже нас — неподвижна, а та, что против, тихо отходит вверх по реке, и скоро земля разорвется.

Это жуткое, медленное движение лишало чувства связи с землею: всё уходило, щемя грудь тоской, ослабляя ноги. В небе тихо плыли красные облака, изломы льда, отражая их, тоже краснели, точно напрягаясь, чтобы достичь меня. Ожила вся огромная земля к весенним родам, потягивается, высоко вздымая лохматую влажную грудь, хрустят ее кости, и река, в мощном мясе земли, — словно жила, полная густой, кипучей крови.

Угнетало обидное ощущение своей малости и бессилия в этом уверенном, спокойном движении масс, а в душе, — на обиде, — растет, разгорается дерзкая человечья мечта: протянуть бы руку, властно положить ее на гору, на берег и сказать:

«Стой, пока я не дойду до тебя!..»

Грустно вздыхает гулкая медь колоколов, но — я помню, что через сутки, в ночь, они грянут весело, возвещая воскресение.

Дожить бы до этого звона!..

...Семь темных фигур качались в глазах, подпрыгивая на льду; они размахивали досками, точно гребли в воздухе, а впереди их вьюном вертится старичок, похожий на Николая Чудотворца, и немолчно звенит его властный голос:

— Не зевай!..

Река стала шероховатой, ее живой хребет вздрагивал и извивался под ногами, напоминая о ките из «Конька-Горбунка», и всё чаще из-под чешуи льда выплескивалось жидкое тело реки — мутная холодная вода, жадно облизывая ноги людей.

Люди шли по узкой жердочке над глубоким оврагом. Тихий, зовущий плеск воды вызывал представление о бездонной глубине, о том, как бесконечно долго будет опускаться тело в эту холодную, тесную массу, как ослепнешь в ней и замрет сердце. Вспоминались утопленники, осклизлые черепа, вздутые лица со стеклянными, выпученными глазами, растопыренные пальцы вспухших рук, отмокшая на ладонях кожа, точно тряпка...

Первым провалился под лед Мокей Будырин; он шел впереди мордвина, как всегда молчаливый, отсутствующий, шел спокойнее всех и вдруг — точно его дернули за ноги — исчез, на льду осталась только его голова и руки, вцепившиеся в доску.

— Помога-ай! — завыл Осип. — Не толпись все, один, двое — помоги!

А Мокей, отфыркиваясь, говорил мордвину и мне!

— Отойдите, парни... я сам... ничего...

Выбрался на лед и, отряхываясь, сказал:

— Пострели те горой, эдак-то, гляди, и в сам деле потопнешь...

Теперь, щелкая зубами и облизывая большим языком мокрые усы, он особенно стал похож на большого, смиренного пса.

Мимолетно вспомнилось, как он, месяц тому назад, отсек себе топором напрочь сустав большого пальца левой руки — поднял бледный обрубок с посиневшим ногтем и, разглядывая его темным взглядом непонятных глаз, виновато, тихонько говорил:

— Скольки разов я его, чудашку, портил, прямо — счету нет!.. Вывихнут он у меня, неправильно действовал... Теперь — схороню...

Тщательно завернул обрубок в стружку, положил в карман и тогда уже перевязал пораненную руку.

За ним выкупался Боев — казалось, он сам нырнул под лед и тотчас закричал неистово:

— А, б-батьшки, тону, смертынька, братцыньки, дайте помощь...

Он так бился в судорогах страха, что вытащили его с трудом и в хлопотах около него едва не погиб мордвин, окунувшись с головою в воду.

— Вот попал бы к чертям ко всеобщей, — выбравшись на лед и сконфуженно усмехаясь, сказал он, теперь еще более тонкий и угловатый.

Через минуту снова провалился и завизжал Боев.

— Не ори, Яшка, козлиная душа! — кричал Осип, грозя ему ватерпасом. — Нашто пугаешь людей? Я те задам! Распояшься, ребята, карманы вывороти, ловчей будет...

На каждом десятке шагов открывались, хрустя и брызгая мутной слюною, зубастые челюсти, синие острые зубы хватили ноги: казалось, река хочет всосать в себя людей, как змея всасывает лягушат. Намокшая обувь и одежда, мешая прыгать, тянули книзу; все стало скользкими, точно облизанные, неуклюжими и немыми, двигались тяжело, медленно и покорно.

Но Осип словно заранее сосчитал трещины во льду и такой же мокрый, как все, скакал зайцем со льдины на льдину; перескочит, остановится на секунду и, осматриваясь, звонко кричит:

— Гляди, как надо, эй!

Он играл с рекою: она его ловила, а он, маленький, увертывался, умея легко обмануть ее движения, обойти неожиданные западни. Казалось даже, что это он управляет ходом льда, подгоняя под ноги нам большие, прочные льдины.

— Не падай духом, божьи детки, э-эй!

— Ай да дядя Осип! — тихо восторгался мордвин. — Ну — человек!.. Это действительно — человек...

Чем ближе к берегу, тем более измельчен, истерт лед и всё чаще проваливались люди. Город уже почти проплыл мимо, скоро нас вынесет на Волгу, а там лед еще не тронулся и нас подтянет под него.

— Пожалуй — потонем, — тихонько сказал мордвин, поглядывая налево в синюю муть вечера.

Но вдруг — точно пожалев нас — огромная чка¹ уперлась концом в берег, полезла на него, ломаясь, хрустя, и встала.

— Беги-и! — яростно закричал Осип. — Валяй во всю мочь!..

Прыгнул на чку, поскользнулся, упал и, сидя на краю льдины, заплескиваемый водою, пропустил всех мимо себя — пятеро убежали на берег, толкаясь, обгоняя друг друга. Мордвин и я остановились, желая помочь Осипу.

— Бегите, щенки свинячьи, ну!..

¹ Чка — плавучая льдина.

Лицо у него было синее и дрожало, глаза погасли, рот странно открылся.

— Вставай, дядя... Он опустил голову.

— Ногу я сломил будто... не встать...

Мы подняли его, понесли, а он, закинув руки на шею нам, ворчал, щелкая зубами:

— Утопнете, лешманы... ну, слава те богу, не попустил, батюшко... Глядите — троих не сдержит, шагай осторожно! Выбирай, где лед снегом не покрыт, там он тверже... бросить бы вам меня!..

Заглянул прищуренным глазом в лицо мне и спросил:

— А книжка-то грехов наших, поди, вовсе размокла у тебя, пропала, а?

Когда мы сошли с куска льдины, навалившегося на берег, раздавив в щепы какую-то барку, вся часть льда, лежавшая в воде, хрустнула и, покачиваясь, захлебываясь, поплыла.

— Ишь ты, — одобрительно сказал мордвин, — поняла дело!

Мокрые, иззябшие и веселые, мы на берегу, в толпе слободских мещан; Боев и солдат уже ручаются с ними, мы кладем Осипа на какие-то бревна, он весело кричит:

— Ребя, а книжка-то решилась, размокла ведь...

Эта книжка — точно кирпич за пазухой у меня; незаметно вынув, я швыряю ее далеко в реку, и она шлепается о темную воду, как лягушка.

Дятловы помчались в гору — в кабак за водкой, бегут, колотят друг друга кулаками и орут:

— Р-ря!

— Их ты-и!..

Высокий старик с бородою апостола и глазами вора убежденно говорит над моим ухом:

— А за то, что вы взбулгачили народ мирный, надо бы вас, анафемов, по мордам...

Боев, переобуываясь, кричит:

— Чем мы вас потревожили?

— Христиане тонут, — ворчит солдат, еще более охрипший, — а вы что делали?

— А что нам делать?

Осип лежит на земле, вытянув ногу, и, щупая полушубок дрожащими руками, жалуется тихонько:

— Ах, мать честная, как измочился... Спорчена одежда на нет... а — года не носил!

Стал он маленький, сморщился и словно тает, лежа на земле, становясь всё меньше.

Вдруг, приподнявшись, он сел, охнул и злым, высоким голосом заговорил:

— Понесли вас беси, дураков, — в баню, в церковь вишь ты! Чертогоны! Туда же... Не проживет бог без вас свой праздник... На смерть наткнулись было... одежду всю спортили, чтоб вас рóзорвало...

Все переобувались, отжимали одежду, устало сопя, охая, переругиваясь с мещанами, а он кричал всё горячее:

— На-ко, что удумали, окаянные! Баня им надобна... вот, — полицию бы, она бы вам показала баню...

Кто-то из мещан услужливо сказал:

— За полицией послано...

— Ты — что? — закричал Боев Осипу. — Ты зачем притворяешься?

— Я?

— Ты!

— Стой! Это как же?

— Кто подбил народ, чтоб идти, а?

— Кто?

— Ты!

— Я?

Осип задергался, точно в судороге, и сорвавшимся голосом повторил:

— Я-а?

— Это совсем верно, – спокойно и внятно сказал Бudyрин.

Мордвин тоже подтвердил, тихонько, печально:

— Ей-богу, ты, дядя Осип!.. Ты забыл...

— Конечно, ты заводчик делу, – угрюмо и веско крикнул солдат.

— За-абыл он! – яростно кричал Боев. – Как же, забыл! Нет, это он пробует, нельзя ли свою вину на чужую шею хомутом одеть, знаем мы!

Осип замолчал и, прищурился, оглядел мокрых, полуодетых людей... Потом, странно всхлипнув — смеясь иди плача — дергая плечами и разводя руки, стал бормотать:

— А ведь — верно... и впрямь — моя затея-то... скажи на милость!

— То-то! – победоносно крикнул солдат.

Глядя на реку, кипевшую, как просыпанная каша, Осип, сморщив лицо и виновато спрятав глаза, продолжал:

— Прямо — затмение... ах ты, батюшки! И как не утонули? Даже понять нельзя... Фу ты, господи!.. Ребята... вы — того... не сердитесь, праздника ради... простите уж!.. Помутилось в уме у меня, что ли-то... Верно: я подбил... экой старый дурак...

— Ага? – сказал Боев. – А как бы я — утоп, чего бы ты говорил?

Мне казалось, что Осип искренно поражен ненужностью и безумием сделанного им, — скользкий, точно облизанный, напоминая новорожденного теленка, он сидел на земле, покачивая головой, шаря руками по песку вокруг себя, и не своим голосом всё бормотал покаянные слова, ни на кого не глядя.

Я смотрел на него, думая — где же тот воевода-человек, который, идя впереди людей, заботливо, умно и властно вел их за собою?

В душу наливалась неприятная пустота, я подсел к Осипу и желая что-то сохранить, тихо сказал ему:

— Будет тебе...

Он искоса взглянул на меня и, распутывая бороду пальцами, так же тихо молвил:

— Видал? То-то вот...

И снова заворчал громко, для всех:

— Какая штука — а?

...На вершине горы, на фоне уже потемневшего неба, стоит черная щетина деревьев, гора прилегла к берегу, точно большой зверь. Появились синие тени вечера, они выглядывали из-за крыш домов, прижавшихся к темной коже горы, точно болячки, смотрели из рыжей, влажной пасти глинистого оврага, широко разинутой на реку, — чудилось, будто она тянется к воде, чтобы выпить ее.

Река потемнела, шорох и скрежет льда стал глуше, ровнее; иногда льдина тыкалась краем в берег, как свинья рылом, минуту стояла неподвижно, покачнувшись, отрывалась, плыла дальше, а на место ее лениво вползала другая.

Быстро прибывала вода, заплескивая землю, смывая грязь, — грязь расходилась темным дымом по мутно-синей воде. В воздухе стоял странный звук — хрустело и чавкало, точно огромное животное, пожирая что-то, облизывалось длинным языком.

Из города плыл приглушенный расстоянием сладкозвучно-грустный колокольный звон.

С горы, как два веселых щенка, катились Дятловы, с бутылками в руках, а наперерез им — вдоль берега — шел серый околодочный и двое черных полицейских.

— Ах ты, господи! – стонал Осип, тихонько поглаживая колено.

Мещане, завидя полицию, раздвинулись шире, выжидая примолкли, а околодочный — сухонький человечек с маленьким лицом и рыжими усами в стрелку — подошел к нам, строго говоря сиповатым, деланным баском:

— Это вы, дьяволы...

Осип опрокинулся спиной на землю и торопливо заговорил:

— Это — я, ваше благородие, я всему затейщик! Простите, праздников великих ради, ваше благородие...

— Как же ты, старый чёрт, — закричал околодочный, но крик его пропал, потонул в быстром потоке умильных, ласковых слов.

— Квартера у нас здесь, в городе; на том берегу ничего нам нет, и денег нет у нас на хлеб, а после завтра, ваше благородие, велик Христов день, — в баньку надобно, на церковную службу хочется, как мы христиане, ну — я и говорю: «Айда, ребята, что бог даст, не по худому делу пойдём». И за продерзость наказан я, вот — ноженьку разбил вовсе...

— Да! — сурово крикнул околодочный. — Ну, а если б вы утопи — что тогда было бы? Осип глубоко и устало передохнул:

— Что же было бы, ваше благородие? Ничего бы, чать, не было, извините...

Полицейский ругался; все слушали его молча и внимательно, точно человек не матерей оскорблял грязно и цинично, а говорил важные слова, которые всем необходимо знать и помнить.

Потом, переписав наши имена, он ушел; мы, распив жгучую водку, согретые и приободренные, стали собираться домой — Осип, усмехаясь, поглядел вслед полиции и вдруг, легко поднявшись на ноги, истово перекрестился.

— Вот и конец всему, слава тебе господи!..

— Стало быть, — изумленно и разочарованно загнул Боев, — стало быть, нога-то — цела? Не сломал, значит?

— А тебе надо чтобы сломать?

— Ах, — комедьян! Петрушка ты несчастный...

— Пошли, ребята! — скомандовал Осип, натягивая на голову мокрую шапку.

...Я шел рядом с ним сзади всех; он говорил мне тихонько, ласково и как бы сообщая одному ему известную тайну:

— И что ни делай, как ни кружись, ну — без хитрости, без обману — никак нельзя прожить, такая жизнь, такая она есть, пострели ее в душу... Ты бы на гору, а чёрт за ногу...

Темно, и во тьме вспыхивают красные, желтые огни, как бы говоря: «Сюда идите!..»

Идем встречу звону на гору, журчат ручьи, сбегая под ноги нам, и ласковый голос Осипа утопает в их шуме:

— Ловко я полицию-то обошел! Вот как надобно дела делать — чтобы никто ничего не понял, а каждому чудилось, будто он и есть — главная пружина, да... Пускай каждый думает, будто его душа — дело совершила...

Я слушаю его речь и — плохо понимаю ее.

Да мне и не хочется понимать, в душе у меня просто и легко; я не знаю — нравится мне Осип или нет, но готов идти рядом с ним всюду, куда надобно, — хоть бы снова через реку, по льду, ускользящему из-под ног.

Гудят, поют колокола, и радостно думается:

«Еще сколько раз я встречу весну!..»

Осип говорит, вздыхая:

— А душа человекья — крылата, — во сне она летает...

Крылата? Чудесно!..